

*Жизнь, мое чудо заветное,
тем меня удивляет,
что женою быть позволяет,
даже оставив бездетною.*

Патриция Кавалли.
Жизнь, мое чудо заветное

1

Полумир — это психбольница, в которой много окошек, и в окошках виднеются лица людей, похожих на кошек. Они не умеют мяукать, не знают своей породы, и все-таки это кошки, просто особого рода.

Сегодня утром привезли Новенькую, и мне пришлось ей все объяснять с самого начала: сперва про Гадди, потом про Лампочку, про медсестер, про надзирательниц, потом про то про се, про то про се, про то про се и снова про то про се. И, наконец, про чокнутых.

Про них нужно прежде всего знать, что они — как море: бывают Тихие, Спокойные, а бывают Буйные. Наше море ограничено стенами, и все-таки это море, а в каждом море нужны карта и компас. Еще в Полумире есть Эльба, то есть я, и для меня это целый мир, потому что никакого другого я не знаю. Ага.

Новенькая молчит, даже имени своего не называет. Поначалу все они так: сидят себе тихонечко, потом кое-кто начинает говорить и уже не замолкает, крошит слова, будто овощи в салат, и этот тайный язык никому не разобрать. А как болботать станут, уже и слушать бесполезно.

Ответа нет. Считаю до пяти запятая шести и начинаю снова.

Хочешь знать, почему меня Эльбой зовут? Это я Новенькую спрашиваю. Она вроде как подмигивает левым глазом, что я воспринимаю как «да». Так вот, это название великой северной реки, текущей через всю Германию. Мне это имя дала моя Мутти, что по-немецки значит мама. Знаешь, где Германия на карте? Их там две: желтая и оранжевая, это я выучила в школе у Сестер-Маняшек, куда меня отправили, когда мне было девять. Моя Мутти — из оранжевой, что сейчас крепко-накрепко закрыта из-за коммунизма. Там построили стену, как здесь, в Полумире, и никто не может ни войти, ни выйти. Только реки текут себе — как их остановишь? А река, что мое имя носит, пересекает оранжевую Германию и впадает в Северное море. Мутти говорила, все реки ведут к морю.

Новенькая зарывается в одеяло, как непослушная кошка. Я раза три запятая четыре потираю костяшкой указательного пальца горбинку на носу и продолжаю объяснять.

Мутти много лет назад бежала из оранжевой Германии, но и тут очутилась за стеной. Ее поместили сюда, только не одну: в животе у нее уже была я, а в голове — многое другое. Математика, иностранные языки, названия всех видов животных и растений, какие только есть. И безумие.

Пять лет я провела у Сестер-Маняшек, а когда наконец вернулась, Мутти исчезла. Гадди говорит, будто она умерла, но я ему не верю, потому что время от времени слышу ее голос. Новенькая вздыхает, и по палате разносится запах голода. Что, не веришь? Нет, я не из тех, на четвертом этаже, с бешеными глазами, которым голоса только чудятся! Не то Гадди сразу отправил бы меня к ним, потому что он — вождь Полумира и правит тут всеми: и безумными, и разумными, и зверьми, и людьми.

Новенькая, пожав плечами, запеленывается в одеяло, словно мумия. Похоже, такая же мерзлявая, как и все

мы. Только у одних мороз по коже, а у других, вроде меня, — под.

Признаюсь, не уверена, в самом ли деле я слышу голос Мутти, но она совершенно точно жива, и ее до сих пор прячут где-то здесь, в каком-то из отделений. Это я знаю наверняка, мне год назад, когда я только вернулась, призналась одна чокнутая, а чокнутые врать не умеют.

Я умолкаю, но живот у Новенькой скрипит, как разошедшаяся дверь, а это самый тоскливый звук на свете, и приходится снова начинать рассказывать. Она была красавицей, моя Мутти. Вот закрой глаза, попробуй ее представить: волосы — золотистый мох, глаза — сухие листья, пальцы — выющийся плющ. При ней со мной ни разу не случилось ничего плохого. А если я плакала, она принималась петь: *Backe, backe Kuchen* или *Es war eine Mutter*¹. И друг с дружкой мы всегда говорили на тайном языке, языке Германии, чтобы окружающим своих мыслей не раскрывать.

Мутти скрашивала мое одиночество, никогда мне не лгала и падучей не страдала. Она придумывала игры для меня одной. Например, «Немое кино»: если кто-то из чокнутых начинал вопить, Мутти, заткнув мне уши пальцами, шевелила губами, а я должна была понять, что она говорит. Игра заканчивалась, когда чокнутая падала в обморок или когда Лампочка утаскивала ее к себе в кабинет.

Или «Сбежавший леденец»: побеждала та из нас, кто ухитрялась выплюнуть его в унитаз, чтобы не заметила дежурная сестра. Я как-то забыла за собой смыть и потеряла два очка, но потом научилась. Потому что мы все здесь чокнутые, этого не отнимешь, но не тупые!

Или «Мессер Дромадер»: напяливаем ведро на швабру для мытья пола — получается верблюд, совсем как тот,

¹ «Пеки, пеки пирог», «У матушки четверо было детей» (нем.) — немецкие народные песенки-считалки.

которого я видела по телевизору, в документалке по третьему каналу. И вот я, усевшись верхом на палку, уже пересекаю пустыню Полумира.

Или, скажем, «Королева Королевишна»: Королева Королевишна, сколько шагов мне назначишь, чтобы до замка добраться, не смеясь и не плача, спрашивала я. А Мутти отвечала: пять жирафьих. И я считала: один, два, два запятая шесть, три, четыре, четыре запятая семь, пять. Когда я до нее добиралась, она делала мне фыр-фыр в шею, так что я уписывалась со смеху. Иногда это были десять слоновьих шагов, иногда сто муравьиных, но в конце концов я всегда возвращалась к ней. Вот почему числа так прекрасны: им нет конца, совсем как человеческим безумствам, зато они всегда следуют по порядку, а не наобум. Мне нравятся и целые числа, и десятичные дроби, но дроби больше, потому что они похожи на меня: точные, но неполные.

А твоя мама где, она жива? Новенькая даже не удосуживается обернуться ко мне, просто втыкает ноготь указательного пальца правой руки в ладонь левой. Я достаю из-под матраса тетрадь в черной обложке и заношу этот случай в «Дневник умственных расстройств». Всякий раз, обнаружив какое-нибудь неожиданное проявление, я добавляю его в список, чтобы помочь Гадди поставить диагноз. Мы с ним нередко расходимся во мнениях, он говорит: истерия, я: шизофрения, он: паранойя, я: мания, он: раптус¹, я: эпилепсия. Я позволяю ему взять верх, он все-таки главный, но в итоге новенькие, переходя из отделения в отделение, оказываются именно там, где предсказывала я: шизофрения, мания, эпилепсия. Мне нравится все рифмовать, а в Полумире, на мое счастье, все слова, как и сама психиатрия, оканчиваются на «-ия». Но Гадди отказывается признавать мою правоту. На самом деле он просто

¹ *Ramusc* — приступ неистового возбуждения, вызванный чрезвычайно сильным аффектом (тоски или страха).

завидует: я-то здесь родилась, а ему, чтобы сюда попасть, целую жизнь пришлось потратить.

Зато я не бывала снаружи, если не считать пяти лет у Сестер-Маняшек. Но какое это имеет значение? Ведь наружный мир в конце концов так и так приходит сюда. В Бинтоне привозят всяких: длинных и тощих, красавиц и уродин. Здесь у каждой свой заскок: кому нравится себя царапать до крови, кому — стонать без остановки и днем и ночью, кому — врать напрапалую. Кто считает себя кем-то другим, кто рвет на себе одежду и всем демонстрирует стыдные места. Кто обожает, растянувшись на койке, притворяться мертвой, кто — смешивать разномастные словечки, кто непрерывно теребит подружку. В последнем случае все просто: ледяная вода — и зуд мигом пройдет. А если не поможет — тогда электричество.

А у тебя подружка не чешется? Новенькая глядит на меня, будто ни о чем подобном и не думала. Или у нее просто кататонический ступор, помечаю я в «Дневнике умственных расстройств».

В этом отделении, рассказываю я ей, только женщины или в некотором роде женщины, поскольку у каждой из нас что-то не так или чего-то недостает.

Альдина — неврастеничка, она прекрасно (не то что я) сочиняет настоящие стихи без единой рифмы, заплетает себе и другим косы, а заодно колотит все стеклянное, что увидит. Среди нас она единственная красавица: черные кудри, длинные тонкие пальцы, хотя ногти сгрызены до мяса. Отец сдал ее сюда, прознав, что дочь связалась с агитаторами. «Уж лучше чокнутая, чем террористка», — сказал он тогда. За отказ повиноваться Альдина месяц провела в карцере, и временами ее крики доносились даже сюда, в Море Спокойствия. «Я объявляю себя политзаключенной», — кричала она, пока ее привязывали к койке. «Наступит день, и ты скажешь мне спасибо», — всякий

раз говорит отец, приходя навестить дочь, но Альдина лишь с завидным постоянством плюет ему в лицо. Похоже, день этот пока не наступил.

Нунциата — обсессивная, она постоянно смачивает запястья и шею водой из-под крана, потому что работала в парфюмерной секции универмага «Ринашенте». Но дамы пугались и больше не приходили покупать косметику, поэтому Нунциату уволили, а родители, не имея возможности держать дочь дома, отправили ее сюда. Дни у нее делятся на хорошие и не очень. В хороший день она, улыбаясь, подставляет нам шею и спрашивает: ну как? Мне нравится, отвечаем мы, хотя, по правде сказать, пахнет от нее только потом, дымом и гнилым луком. А в не очень хорошие дни Нунциата ни к чему не расположена, даже к духам.

Вечная-Подвечная, шизофреничка, — самая старшая в отделении. Волосы у нее — как пакля, а зубов осталось всего три, зато они крепко сидят на нижней челюсти. Старушка страдает недержанием, день и ночь болбочет, а здесь живет уже не первый век. И когда меня отправляли к Сестрам-Маняшкам, тоже жила, за что я ее вроде как и люблю. Еще девчонкой Вечную-Подвечную бросили прямо у алтаря, и она до сих пор не оправилась: считает, будто у нее сегодня свадьба. Каждый божий день. Так мне рассказывали, и я верю, потому что одних любовь пробуждает к жизни, а других убивает. Про них еще говорят: потерял голову. Ага.

И каждый божий день мы с Мутти были ей шафером и подружкой невесты. Она величественно, словно в церкви, шла по проходу между двумя рядами коек, преклоняла колени перед шкафчиком с утками и затягивала одну и ту же песню: я, Кармела Паломба, беру тебя, — тут всякий раз следовало новое имя, — в законные мужья, пока смерть не разлучит нас, аминь. Аминь, аминь, повторяли мы с Мутти, молитвенно сложив руки. А Кармела Паломба, дряхлая, морщинистая девчонка, осенив себя крестным знаменiem,

возвращалась в койку и тут же мочилась под себя. Мутти мыла ее, меняла исподнее и гребешком, который хранила в потайном кармане сорочки, расчесывала волосы, длинные-предлинные и белые-пребелые, и я глядела на них, завернувшись в простыню, служившую ей свадебным шлейфом. Я была счастлива — и все тут.

Пина — kleptomанка, она крадет чужую еду, чтобы отдать детям: так она утверждает. Вот только никаких детей с ней нет, а может, и нигде нет, кроме как в ее собственном воображении. Зато с Пиной можно договориться, поясняя я Новенькой: если нет аппетита, просто отставляешь тарелку, она все доест. Мы здесь с подобными вещами всегда друг другу помогаем. Всякий раз, когда Пина что-нибудь крадет, Гадди, узнав об этом, обзывает ее Маппиной. Звучит нежно, как будто что-то маленькое, а на самом деле слово это бранное: Нунциата мне объяснила, что оно означает старую, драную тряпку, мерзость. Когда Гадди обзывает Пину Маппиной, медсестры смеются, а он скалится, обнажая редкие черные зубы. Нам такие слова повторять нельзя, потому что непристойностей он не терпит, кроме как во время истерических припадков: сразу запирает в карцере, чтобы мы выпустили пар и весь яд, что сидит у нас внутри, вышел через рот и прочие отверстия в теле. Сама я в карцер не попадала, а вот разбушевавшуюся Альдину раз туда увели, и вернулась она тихая. Я спросила, что там было, но она не ответила, только написала на клочке туалетной бумаги:

*Гнев — это опухоль души,
что, втиснувшись в грудную клетку,
тоннами ненависти лютот
отягощает каждый вздох.*

Очень красиво, сказала я, только я ничего не поняла. А она разжала пальцы, спустила воду и, бросив: «Дерьмовый стишок», — сплюнула в унитаз.

Ты, кстати, стихов не пишешь? Я вот выдумываю рифмы, как в тех рекламных роликах, что мы смотрели вместе с Мутти, пока меня не отправили к Сестрам-Маняшкам. А по маме скучаешь? Я — постоянно, только с каждым днем все меньше.

«Ностальгия — это боль, но она проходит, — записала я как-то в «Дневнике умственных расстройств», — и это самое страшное».

Ты понимаешь, что я говорю? Ответа нет. Понимаешь? Ноль реакции. Понимаешь, понимаешь, понимаешь, понимаешь, понимаешь? Да какая, в сущности, разница, может, ты просто глухая, ты ж в этом не виновата. Я тебе тогда о своих пристрастиях расскажу, ладно? Мне нравится все считать, смотреть телевизор, напевать темы из рекламных роликов, поджигать разные штуки, болтать с самой собой, чтобы не было одиноко, составлять списки психозов. Не знаю, чокнутая ли я, но идти-то мне больше некуда.

Я слежу за выражением лица Новенькой, пытаюсь понять, слушает ли она. Но ее глаза уперлись в одну точку на серой стене, словно она видит, как там листья шевелятся. Одна Новенькая, до тебя, понимаешь, говорю я, тоже видела листья. Не только на деревьях — она видела листья и там, где их не было: листья в душе, листья в койке, листья в столовой. Еще и говорила с ними: она — с листьями, а листья — с ней. Ну, потом выздоровела, и семья забрала ее обратно домой. Я бы вот не стала ее выписывать, листья — они ведь крепкий орешек, если уж появились, так запросто не избавишься. Гадди я об этом сказала, но он, как обычно, все по-своему сделал, и девушку увезли. А через три месяца привезли обратно с забинтованными запястьями. Ты их видишь, листья? Новенькая молчит, но я не умолкаю: кто знает, вдруг она меня слушает.

Я вот никаких листьев не вижу и голосов не слышу, кроме голоса Мутти, что зовет меня по ночам. Но у меня ни

психоза нет, ни даже депрессии. Ты вот знаешь, что такое депрессия? Это такая штука, которая, если к тебе придет, уходит уже не хочет, и, чтобы ее прогнать, нужна целая куча Красных леденцов, и Синих леденцов, и даже электричества, снова и снова, раз за разом. А у тебя она есть, депрессия?

Новенькая говорит, что нет, значит, наверное, есть. Надо будет доложить об этом Гадди, когда он зайдет с обходом. А можно тебе один секрет рассказать? Я все болезни зановошу в «Дневник», чтобы понять, какая у меня. Когда знаешь — уже чуточку выздоравливаешь.

Все, кто сюда попадают, думают, что это какой-то позор, и целыми днями рыдают. Но я тебе вот что скажу: мы просто сидим под замком. И никакой это не конец света, это просто начало Полумира.

Альдина говорит, там, за воротами, все то же самое. Только здесь чокнутые носят сорочки, говорят что думают и режим у них построже, чем у чокнутых снаружи. Те целыми днями разгуливают в рубашках и галстуках, считают себя свободными и время от времени спрашивают друг дружку: как считаешь, я не чокнулся?

А чокнутых эти не-чокнутые ненавидят, запирают их в Полумире и носа сюда не кажут даже в дни посещений, потому что глубоко-глубоко внутри боятся, вдруг их больше не выпустят. Всех тех, кто надоедает им во внешнем мире, они свозят сюда: за то, что некрасивые, за то, что непослушные, за то, что бедные. Богатые — те с ума не сходят, а если сходят, их помещают в другую клинику, со всеми удобствами. Одна Новенькая, еще до тебя, была когда-то богатой, потом обеднела и до того себе нервы поистрепала, что совсем чокнулась и здесь очутилась.

Дефективных вообще удобнее держать в одном тайном месте, где их никто не увидит, словно их и не существует. Как в той рекламе: «Марафет — и пятен нет».

2

ВПолумире, объясняю я Новенькой, все делятся на две команды: чокнутые против не-чокнутых. Мы пытаемся обыграть их, они — нас. Не-чокнутые — как фигуры на шахматной доске: надзирательницы ничего не значат, зато всегда стоят друг за дружку; медсестра идет за половину врача, но может делать уколы; Лампочка вдвое дороже, она бьет нас электричеством, когда мы не слушаемся; Гадди — самый главный, потому что ничего не делает, но все за всех решает. Лампочку ты узнаешь сразу, она точь-в-точь уборщица из той рекламы, Синьора Луиза: «Пораньше начнет, пораньше закончит... И ершиков не признает». Я как-то ей об этом сказала, но она не смеялась. Она вообще, как электрический провод, — всегда под напряжением. Ага.

А тебе нравится реклама по телевизору? Новенькая щурится, что я воспринимаю как «нет». А что тогда, можно узнать? Песни, рисунки, числа? Двухзначные я умею складывать в уме, но Гадди сказал, что это симптом болезни, и мне нужно перестать все считать. Достал спичечный коробок, встряхнул, чтобы спички сделали тик-тик, и добавил: мол, голова — как этот коробок. Набьешь его до отказа сегодня, набьешь завтра, а кончится тем, что он вспыхнет, и от всех твоих слов да чисел только пепел останется. Женский мозг

меньше мужского, оттого и горит легче. Потом достал спичку, чиркнул о шершавый бок, закурил трубку и ушел, оставив клубы дыма по всему отделению.

Только это вранье, говорю я Новенькой. Если бы так легко было все поджечь, я бы давным-давно снова увидела свою Мутти. Неправда, что она умерла, как Гадди говорит. Вечная-Подвечная мне в этом призналась через пару дней после того, как я от Маняшек вернулась. Приобняла за плечи и говорит: мама тама, мама тама, мама тама. И на башню показывает, где Особо Буйных держат. Потом рубашку расстегнула и груди свои дряблые мне сует. Тебе, кричит, тебе. И я вижу: на этой бледной, сморщенной груди кулон болтается с перламутровым глазом, Мутти его всегда на шее носила. Хотела было отобрать, да она так развопилась, что прибежала медсестра Жилетт и вколола успокаивающее, от которого старушка потом весь день проспала. Прозвище это, кстати, в честь бритвы, потому что у Жилетт не только усики, но и бородака пробивается. Зато сердце у нее большое. Ну вот, а к побудке кулона Мутти уже не было. Я спросила Гадди, не он ли забрал, когда обход делал. Но он даже глаз на меня не поднял. Наслушавшись чокнутых, говорит, сам рехнешься. Твою бедную маму призвал всеблагий Господь, лучше помолись за нее, да и за себя тоже.

Только я ему не верю. Мне Мутти перед отъездом к Сестрам-Маняшкам пообещала: мол, как я ее здесь оставляю, так здесь и найду. А она никогда мне не лгала и падучей не страдала. Однажды мы с ней нашли сморщенное семечко от яблока, что нам давали на обед. Так Мутти спрята-ла его в карман сорочки, и, когда нам разрешили выйти во двор, мы выкопали ямку, сунули туда семечко и присыпали землей.

— И что теперь? — спросила я.

— Нужно дождаться дождя.

— А после дождя?

— Ничего особенного.

— А потом?

— Снова ничего.

Разочарованно оглядев напоследок крохотный холмик, я пнула острый камень.

— Зато, когда вернешься, найдешь на этом месте крохотное деревце.

Я пожала плечами:

— Мне и тебя достаточно, — а потом захныкала, вцепившись в ее подол.

— То, что мы любим, по-прежнему существует, даже если кажется, что оно исчезло.

— А на самом деле?

— А на самом деле оно растет и ждет.

Два дня спустя меня забрали к Маняшкам.

Новенькая, похоже, даже не слушала, так что я, утерев глаза рукавом сорочки и высморкавшись в край простыни, продолжаю рассказ.

А с Гадди ты уже встречалась? Он все обо всех знает и на каждый недуг вешает ярлык: неврастеничка, лунатичка, маньячка, истеричка; экзальтированная, импульсивная, параноидальная. Я, наверное, аутистка — так мне сказала одна медсестра, только она через месяц уволилась и устроилась в больницу для не-чокнутых, где только зашивают раны и вправляют кости. А с психическими у нее не заладилось, это даже надзирательницы говорили: слишком жалостливая. Как думаешь, я аутистка? Новенькая кусает нижнюю губу, пока на простыне не показывается кровь, что я воспринимаю как сомнение.

У каждой болезни — свой знак, понимаешь? Гадди все их видит и решает, давать тебе Красный леденец или Синий, лучше тебе сегодня или хуже, оставить тебя в Море

Спокойствия или перевести в земли Буйных и Полубуйных, уложить или поднять, привязывать ли ремнями, нужен ли электрошок. В последнем случае вызывает Лампочку, чтобы та пустила через тебя ток: слабый, совсем слабый или помощнее.

Ток выходит из полированного деревянного ящика вот такой ширины, объясняю я Новенькой, раздвинув руки чуть шире плеч. Поднимаешь крышку, а там ручка с делениями, показывающими силу удара. Работает это так: сперва надзирательницы гоняются за тобой по всем отделениям, но в конце концов всегда ловят, затаскивают в кабинет со стеклянной дверью, накрепко привязывают к креслу, суют в рот пластиковый диск, чтобы не раскрошились зубы, надевают на макушку чепчик, завязав тесемки под подбородком, а под чепчик, раздвинув волосы, вставляют кабели. К кабелям прикреплены зажимы, зажимы обмотаны влажной марлей. Пока понятно? Там еще есть часы, которые отсчитывают секунды, от нуля до шестидесяти. Ты считать-то умеешь? Меня Мутти с раннего детства учила. Может, я и числа именно поэтому люблю, а не потому, что аутистка. По бокам у часов две ручки. Ручка 1: сила тока. Ручка 2: частота. Как загорится красный свет, начинается спектакль, и нас ведут поглазеть через стеклянную дверь. Гадди говорит, страх — хороший советчик, а на чужих ошибках учиться лучше, чем на своих. Кто бесится — идет на электромассаж, кто бранится — идет на электромассаж, кто натирает подружку — идет на электромассаж, кто бредит — идет на электромассаж, кто мочится по ночам в постель — идет на электромассаж, кто отказывается от еды — идет на электромассаж. Новенькая прячет руки: два побега лозы, увитые зелеными жилками.

А хочешь, я все-все расскажу? Это я пытаюсь ее напугать, как Гадди учил. Случается, пациентка вопит, корчит-ся, потом ее рвет, она мочится под себя, пока, наконец, не

начинается падучая. После чего спит два дня подряд, а когда просыпается, становится такой же, как раньше, только лучше и спокойнее, а про чепчик, провода и красный свет ничегошеньки не помнит. Поначалу рот у нее на замке, ей, бывает, даже имя свое невдомек, как тому попугаю с желтым клювом, что все никак «Портобелло» сказать не может. А ты любишь, когда по телевизору «Портобелло»¹ показывают?

Однажды, еще до того, как нас разлучили, надзирательницы поймали Мутти: услышали, как она кричит во сне. Все отделение перебудила, и даже медсестры в своем подземелье жаловались. Гадди приказал отвести ее в кабинет со стеклянной дверью, а нас всех заставил смотреть. Жилетт тогда втихую спрятала меня в чулане на четвертом этаже, но Гадди нашел и велел отвести вниз. Мутти лежала у Лампочки в кабинете, и чепчик скрывал ее волосы цвета сиамской кошки — такие же, как мои. Увидев меня, она улыбнулась, словно только этого и ждала, чтобы начать игру в «Немое кино». Когда зажегся красный свет, Мутти подняла указательные пальцы и принялась ими размахивать, как дирижер палочкой. А потом запела нашу песенку, *Es war eine Mutter*. Пой, попросила она с той стороны стекла. Пой со мной, Эльба, прочла я по губам. И запела, сперва тихо-тихо.

Лампочка крутанула ручку 1 и тут же ручку 2. Мутти прищурилась, широко раскрыла рот, но я ничего не услышала: чьи-то руки закрыли мне уши, и я, воображая, что она тоже поет, выкрикивала слова *Es war eine Mutter*, все громче и быстрее, пока не дошла до последнего куплета,

¹ «Портобелло» — популярная итальянская телепрограмма, выходившая в 1977–1983 и 1987 годах. В финале каждого выпуска случайно выбранный зритель в студии должен был за 30 секунд заставить талисмана и символа программы, попугая Портобелло, произнести свое имя.

ВЕЛИКОЕ ЧУДО ЛЮБВИ

после чего красный свет погас, у Мутти началась падучая, и она потеряла сознание. Подняв голову, я увидела над собой волосатый подбородок Жилетт. Наконец она отпустила мои уши и отвела обратно в палату.

А песню эту мы больше не пели. Мутти не помнила, чтобы когда-либо ее знала.